



ГДЕ ЛЕТО С ЗИМОЮ ВСТРЕЧАЮТСЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МАЛЫШ» 1989







ФЁДОР АБРАМОВ
ВИКТОР АСТАФЬЕВ
ЮРИЙ КАЗАКОВ

ГДЕ ЛЕТО С ЗИМОЮ ВСТРЕЧАЮТСЯ

Рассказы о природе



ХУДОЖНИК Н. УСТИНОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МАЛЫШ» МОСКВА 1989



Ф Ё Д О Р
А Б Р А М О В



Фёдор Александрович Абрамов — известный советский писатель — родился в деревне Верколе Архангельской области, на реке Пинеге.

Все свои произведения он посвятил простым русским людям — стойким и душевно богатым, людям-труженикам. И, конечно, родной северной природе.

Для того чтобы лучше узнать мир, совсем не обязательно совершать далёкие путешествия. Дерево, травинка, цветок — это тоже часть мира, часть природы. Только надо уметь видеть в малом — большое, в привычном — прекрасное.





ГДЕ ЛЕТО С ЗИМОЮ ВСТРЕЧАЮТСЯ

Встречаются ли лето и зима? Встречаются.

Сегодня видел эту встречу за Щучьим озером: вверху летнее голубое небо, а внизу — белоснежная зима.

ФЕВРАЛЬ

В начале февраля весна сделала свой первый налёт. С елей и сосен дождём смыло снег, и те опять зазеленели. И радостно и волнующе запахло оттаявшим кедром.

ВЕРБА

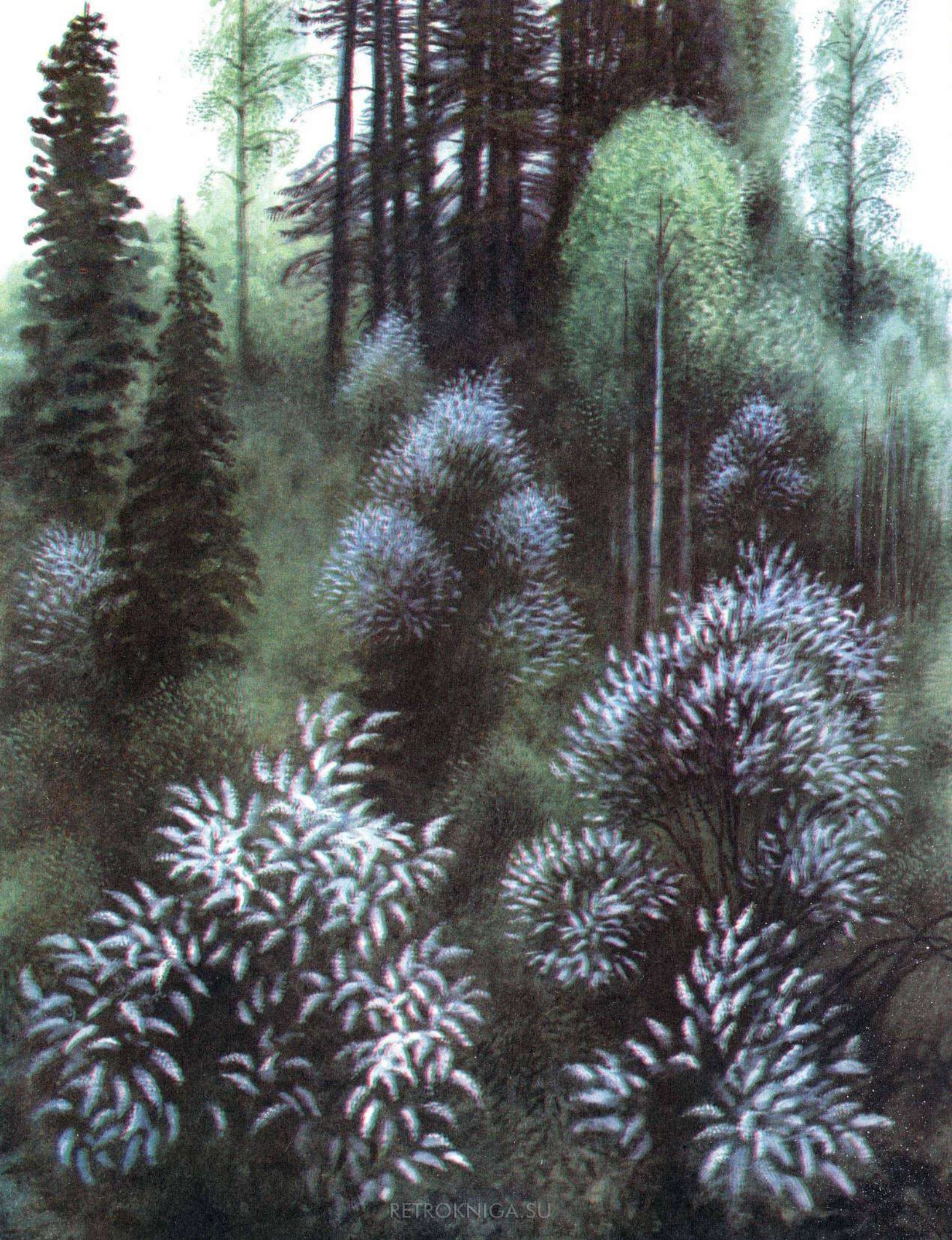
Цветущая верба среди иссиня-чёрных елей, как луч света в тёмном царстве.

ЗЕЛЁНАЯ ВЕСНА

Удивительно разнообразие зелёного цвета весной! Светло-зелёные ёлки (новые побеги), дымчато-серой сосняк, зелёно-скромная берёза, серебристая зелень ивы, желтовато-зелёный дубок, румяно-зелёный, красноватый клён... И только к середине лета всё это растворится в едином океане.







ЧЕРЁМУХА

Погасли, отгорели ивы. Природа как бы в раздумье, как бы отдыхает перед тем, как снова взяться за кисть, чтобы сотворить новую красоту. На очереди — черёмуха — белая ярость, белый взрыв забродившей земли.



ОСИНА

Осина, как журавли среди деревьев: всё время курлычет.

Осина — дерево нервное. Берёзка и другие шумят ветками, а эта — каждым листочком.



СОЛОВЬИ

Вечер. Запели соловьи, и все птицы смолкли. И их заворожило соловьиное пение.

ЖАВОРОНОК

Самая трогательная птица — жаворонок. Навивная и бесхитростная, как ребёнок. И поёт и радуется, как ребёнок. Простенько, но так чисто!



КОМАРЫ

В лесу к весёлым радостным звукам весны прибавился ещё один звук — назойливо-тоскливый стон комара.







ОДУВАНЧИКИ

Покосы уже зажелтели: зажглись купальницы, курослепы, одуванчики. Больше того, на некоторых одуванчиках уже пуховые шары. Когда успели отцвести?



ЛЕСНАЯ ДОРОГА

Иду лесом. Изумрудные стволы ольхи. А стволы елей — розовые, разогретые, как из бани вышли.

Лесная дорога — широкая просека, заросшая травой. Будто зелёная река.



КАРТОШКА ЦВЕТЁТ

Опять вокруг моего дома собрались на свой слёт ласточки, опять цветёт и благоухает косогор и буйным белым половодьем цветёт картошка. Кажется, я в жизни не видел такой мощной травы и такого цвета. До окон поднялись картофельники.

ПОГОЖИМ ЛЕТОМ

Нынче каждая травка, каждая былинка расцвела, во всей своей красоте себя выявила. Всё необычно большое, сочное. Головка у розовой кашки, как колокол, мятлик в грудь, жёлтое блюдце ромашки, как солнце на стебле, а мышинный горошек, нежный мышинный горошек — просто колючая проволока. Словом, на земле, как в какой-то волшебной стране: всё непривычно большое, высокое.





ПИНЕГА

Утром вышел к реке и ахнул: не узнать старушку. Вечером уходил — ни одного камешка не разглядишь на берегу, всё в серой тине. А сегодня берег блестит, сверкает, как разноцветная мозаика. Ночью прошёл ливень, и вот омылась, принарядилась Пинега.



РЖАНОЕ ПОЛЕ

Чем пахнет ржаное поле в жаркий день?
Печёным хлебом, только что вынутым из печи.



СОСНЫ

В лесу тихо. На все лады заливаются птицы. И только высокие сосны, купающиеся верхушками в небесной синеве, стоят равнодушными великанами. Шумят нескончаемым шумом. От них веет вечностью, космосом.



ТАТАРНИК

Щетинится кустами на самой горочке.

Кругом выгорела трава, посёх кустарник, поник спалённый солнцем ячмень, а он разросся царственно, в громадных по низу лопухах — раза в два-три больше, чем капустный лист. Ветер шелестит лопухами, ворочает колючими седыми головками, которые тоже кустятся и кое-где уже стали красными.

СЕНТЯБРЬ

Брусничным соком стала наливаться листва черёмухи. Жёлтые зонтики клёнов висят в воздухе, красные флажки осинки. Малиново-розовые листья вяза. Бронзовая листва дуба. Красные сосны, прошитые лимонными берёзами.

Лимонно-солнечные кустарники.

Поле капустное. Иссиня-морозные кочаны.

Жёлтый березняк, густо расшитый красной рябиной.





ОСЕННЕЕ СОЛНЦЕ

Утром солнце разгорается медленно, трудно — как костёр из сырых дров.



ТИШИНА

Тёплый, солнечный день.

Деревья, измученные дождями и ветрами, нежатся на солнце. Стрекохут, как летом, кузнечики. Пересвистываются птицы. Удивительная тишина.



ЗАКАТ

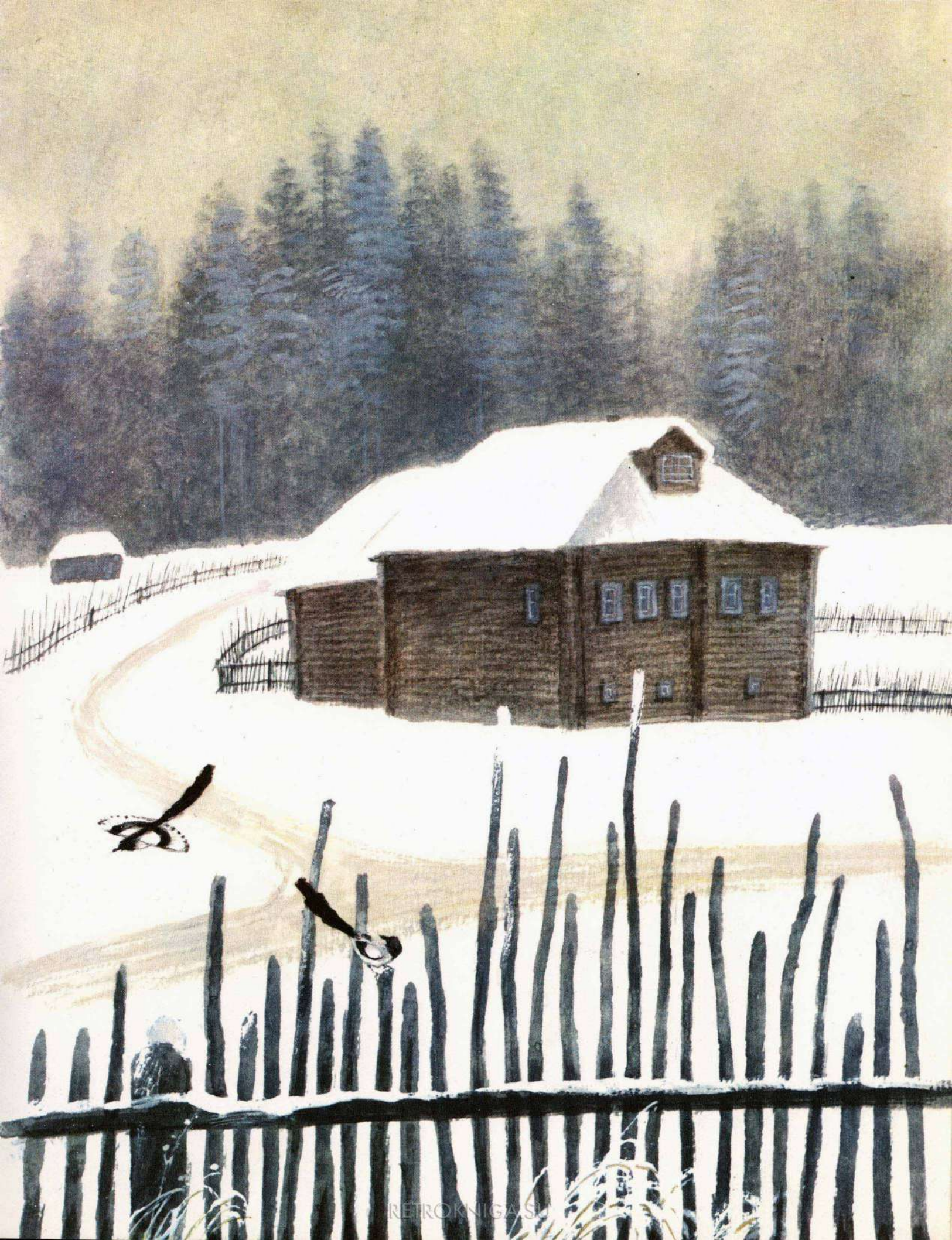
Сперва был огромный раскалённый шар, потом, по мере приближения к черте горизонта, шар сверху и снизу сплющился, будто по нему стали бить кувалдой, потом образовалась пирамидка с закруглённой верхушкой, потом шапка, плоский кургантик, краюшка и наконец тоненькая красная ниточка, подёрнутая сиреневой дымкой. Красной зари не было. Заря была палевая.

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Первый снег. Землю, как на праздник, накрыли чистейшей, белоснежной скатертью.

СНЕГИРЬ

Свист снегиря в декабре. Тонюсенький прокол ленивой тишины зимнего леса.





ЯНВАРЬ

Запорошённые снегом кустарники по сторонам дороги, как затаившиеся стада оленей, вслушивающиеся в тишину. А на лапах елей и сосен разное зверьё из снега: зайцы, медведи, лисы.

Ночью пришло тепло, и дождём смыло с лап всё зверьё.

И олени убежали.

УТРЕННЯЯ ЗАРЯ

Одно из самых величественных зрелищ — как разгорается утренняя заря зимой. Зарево — вполнеба. Торжественно является солнце миру...





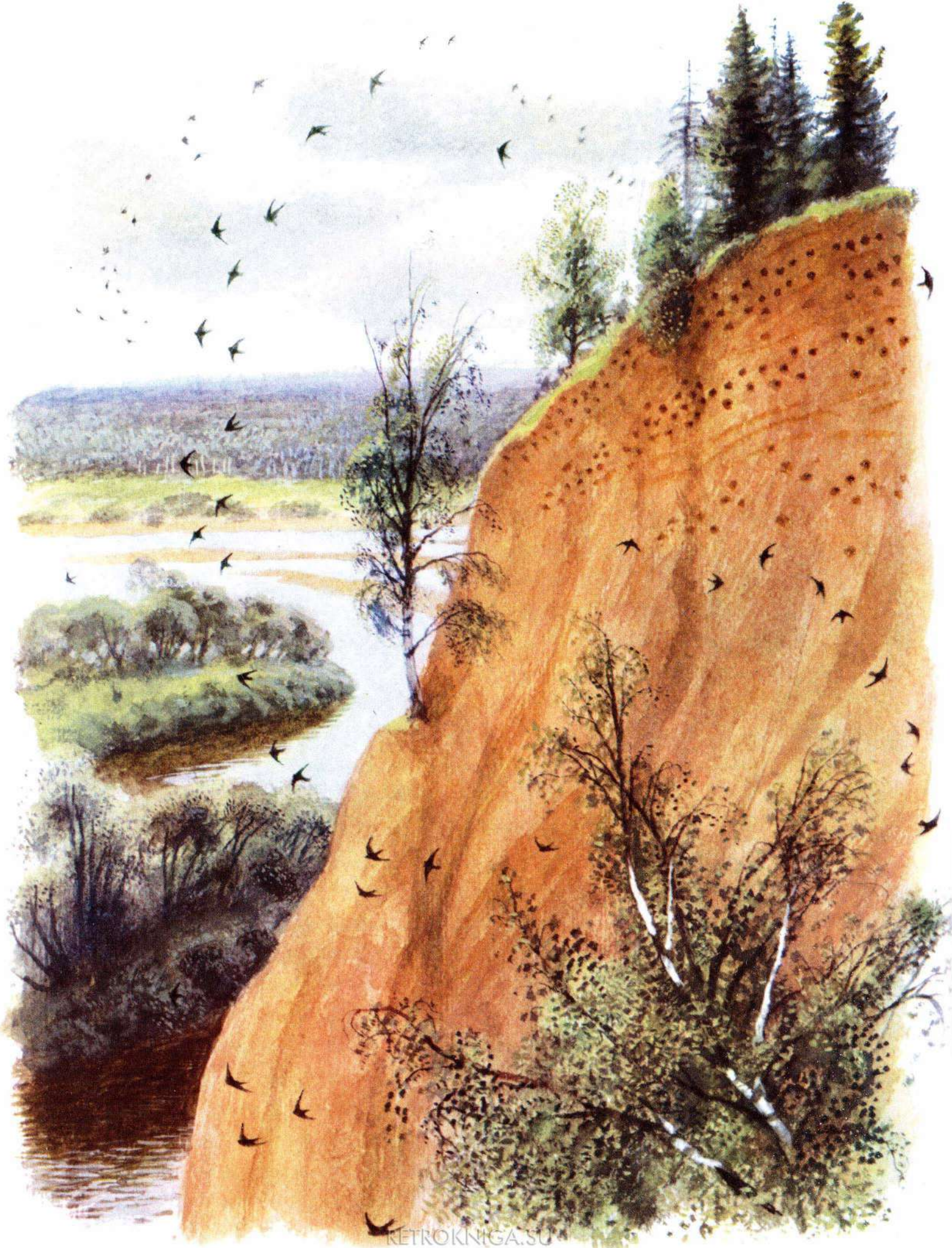
В И К Т О Р
А С Т А Ф Ь Е В



Природа не только радует, но и нуждается в помощи и защите людей. Эта мысль звучит во многих произведениях Виктора Петровича Астафьева—как во взрослых, так и в написанных для детей.

Сам писатель о своих книгах говорит так:

«Мне хотелось внушить людям, что всё, что окружает нас: от зелёной травинки, малой беззащитной птахи, таёжного зверька, земли, рожающей хлеб, неба, дающего нам возможность дышать, солнца, согревающего нас,— всё-всё это есть часть нашей жизни, то есть и нас самих, потому что человек тоже есть создание природы, её дитя, и, как дитя родное, должно относиться к своей матери—земле, дающей нам возможность жить и радоваться жизни».





СТРИЖОНОК СКРИП

Стрижонок вылупился из яичка в тёмной норке и удивлённо пискнул. Ничего не было видно. Лишь далеко-далеко тускло мерцало пятнышко света. Стрижонок испугался этого света, плотнее приник к тёплой и мягкой маме-стрижихе. Она прижала его крылышком. Он задремал, угревшись под крылом. Где-то шёл дождь, падали одна за другой капли.



И стрижонку казалось, что это мама-стрижиха стучит клювом по скорлупке яйца. Она так же стучала, перед тем как выпустить его наружу.

Стрижонок проснулся оттого, что ему стало холодно. Он пошевелился и услышал, как вокруг него завоились и запищали голенькие стрижата, которых мама-стрижиха тоже выклевала из яиц.

А самой мамы не было.

— Скрип! — позвал её стрижонок.

— Скрип! Скрип! Скрип! — повторили за ним братья и сёстры.

Видно, всем понравилось, что они научились звать маму, и они громче и дружнее запищали:

— Скрип! Скрип! Скрип!

И тут далёкое пятнышко света потухло.

Стрижата притихли.

— Скрип! — послышалось издалека.

«Так это же мама прилетела!» — догадались стрижата и запищали веселей.

Мама принесла в клюве капельку дождя и отдала её Скрипу — первому стрижонку.



Какая это была вкусная капля! Стрижонок Скрип проглотил её и пожалел, что капля такая маленькая.

— Скрип! — сказал он. Ещё, мол, хочу.

— Скрип-скрип! — радостно ответила мама-стрижиха. Сейчас, дескать, сейчас.

И опять её не стало. И опять стрижата тоскливо запищали. А первый стрижонок кричал громче всех. Ему очень уж понравилось, что мама-стрижиха поила его из клюва.

И когда снова закрылся свет вдали, он что было духу закричал: «Скрип!» — даже полез навстречу маме. Но тут же был откинут крылом на место, да так бесцеремонно, что чуть было кверху лапками не опрокинулся. И каплю вторую мама-стрижиха отдала не ему, а другому стрижонку.





Обидно. Примолк стрижонок Скрип, рассердился на маму и братьев с сестрёнками, которые тоже, оказывается, хотели пить. Когда мама принесла мошку и отдала её другому стрижонку, Скрип попытался отнять её. Тогда мама-стрижиха так долбанула Скрипа клювом по голове, что у него пропала всякая охота отбирать еду у других.

Понял стрижонок, какая у них серьёзная и строгая мама. Её не разжалобишь писком.

Так начал жизнь в норке стрижонок Скрип вместе с братьями и сёстрами.

Таких норок в глиняном берегу над рекой было очень много. В каждой норке жили стрижата, а точнее, ласточки-береговушки. И были у них папы и мамы. А вот у стрижонка Скрипа папы не было. Его сшибли из рогатки мальчишки. Он упал в воду, и его унесло куда-то. Конечно, стрижата не знали об этом.

Маме-стрижихе было очень тяжело одной кормить детей. Но она была хорошая мать. С рассвета и до темноты носилась она над берегом и водой, схва-



тивала на лету мошек, комариков, дождевые капли. Приносила их детям. А мальчики, сидевшие с удочками на берегу, думали, что стрижи и все стрижи играют над рекой.

Стрижонок Скрип подрос. У него появились перья, и ему всё время хотелось есть. Иногда ему удавалось отобрать у братца или сестрёнки мошку, и тогда они жалобно и недовольно пищали. За это Скрипу попадало от мамы-стрижи. Но ему так хотелось есть, так хотелось есть!

А ещё ему хотелось выглянуть из норки и посмотреть, что же оно там такое, дальше этого пятнышка света, откуда мама-стрижи приносит еду и ветереные запахи на крыльях.

Пополз стрижонок Скрип. И чем дальше он полз, перебирая слабыми лапками, тем больше и ярче делался свет.

Боязно!

Но Скрип был храбрый стрижонок, он полз и полз.

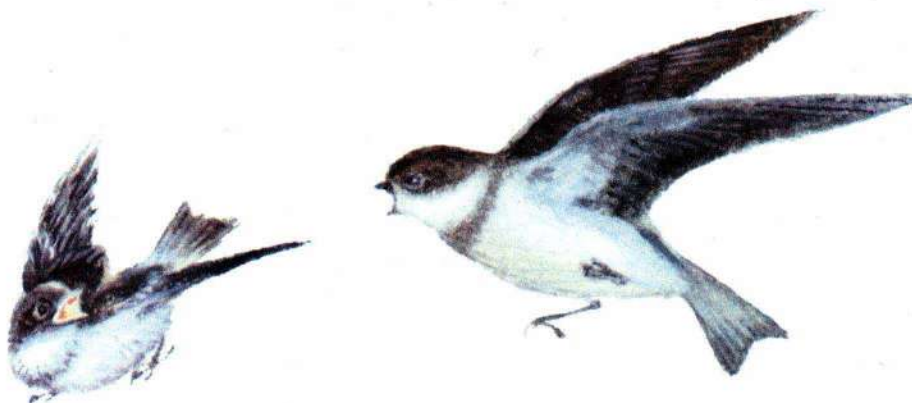




Наверное, он выпал бы из норки и разбился, как разбиваются такие вот неразумные птенцы. Но тут появилась мама-стрижиха, схватила его, уволокла в глубь норки — и раз-раз его клювом по голове! Сказала сердито: «Скрип-скрип!» — и ещё по голове...

Очень рассердилась мама-стрижиха, очень сильно была Скрипа. Должно быть, там, за норкой, опасно, раз мама так волнуется. Конечно, откуда Скрипу было знать, сколько врагов у маленьких проворных стрижей!

Сидит на вершине берёзы страшный быстрый сокол и подстерегает их. Скоком-прыгом подходит к норкам клювастая ворона. Тихо ползёт меж камней чёрная гадюка.



Побольше подрос Скрип, догадываться стал об этом. Ему делалось жутко, когда там, за норкой, раздавалось пронзительное «тиу!» Тогда мама-стрижиха бросала всё, даже мошку или каплю воды, и, тоже крикнув грозное «тиу!», мчалась из норки.



И все стрижи с криком «тиу!» высыпали из норок и набрасывались на врага. Пусть этот враг хоть сокол, хоть коршун, хоть кто, пусть он хоть в сто раз больше стрижей, они всё равно не боялись его. Дружно налетали стрижи, все как один. Коршун и ворона скорей-скорей убирались в лес, а гадюка пряталась под камень и со страху шипела.

Однажды мама-стрижиха вылетела на битву с врагом-разбойником соколом.

Сокол был не только быстрым, но и хитрым. Он сделал вид, что отступает. Вожак стрижей Белое брюшко дал отбой, крикнув победоносное «тиу!». Но мама-стрижиха ещё гналась за соколом, чтобы уж навсегда отвадить его летать к стрижиным норкам.

Тут сокол круто развернулся, ударил маму-стрижиху и унёс в когтях. Только щепотка перьев кружилась в воздухе. Перья упали в воду, и их унесло...

Долго ждал стрижонок Скрип маму. Он звал её. И братцы и сестрёнки тоже звали. Мама не появлялась, не приносила еду.

Потускнело пятнышко света. Настала ночь. Утихло всё на реке. Утихли стрижи и стрижата, пригретые папами и мамами. И только Скрип был с братьями и сестрёнками без мамы.

Сбились в кучу стрижата. Холодно без мамы, голодно. Видно, пропадать придётся.

Но Скрип ещё не знал, какой дружный народ стрижи! Ночью к ним нырнул вожак Белое брюшко, пощекотал птенцов клювом, обнял их крыльями, и они пригрелись, уснули. А когда рассвело, в норку к Скрипу наведальась соседка-стрижиха и принесла большого комара. Потом залетали ещё стрижи и



стрижихи и приносили еду и капли воды. А на ночь к осиротевшим стрижатам снова прилетел вожак Белое брюшко.

Выросли стрижата. Не пропали. Пришла пора покидать им родную норку, как говорят, становиться на крыло — самим добывать себе пищу и строить свой дом.

Это было радостно и жутко!

Скрип помнит, как появился однажды в норке вожак. Вместо того, чтобы дать Скрипу мошку или капельку, он ухватил его за шиворот и поволок из норки. Скрип упирался, пищал. Белое брюшко не обращал внимания на писк Скрипа, подтащил его к устью норки и вытолкнул наружу.

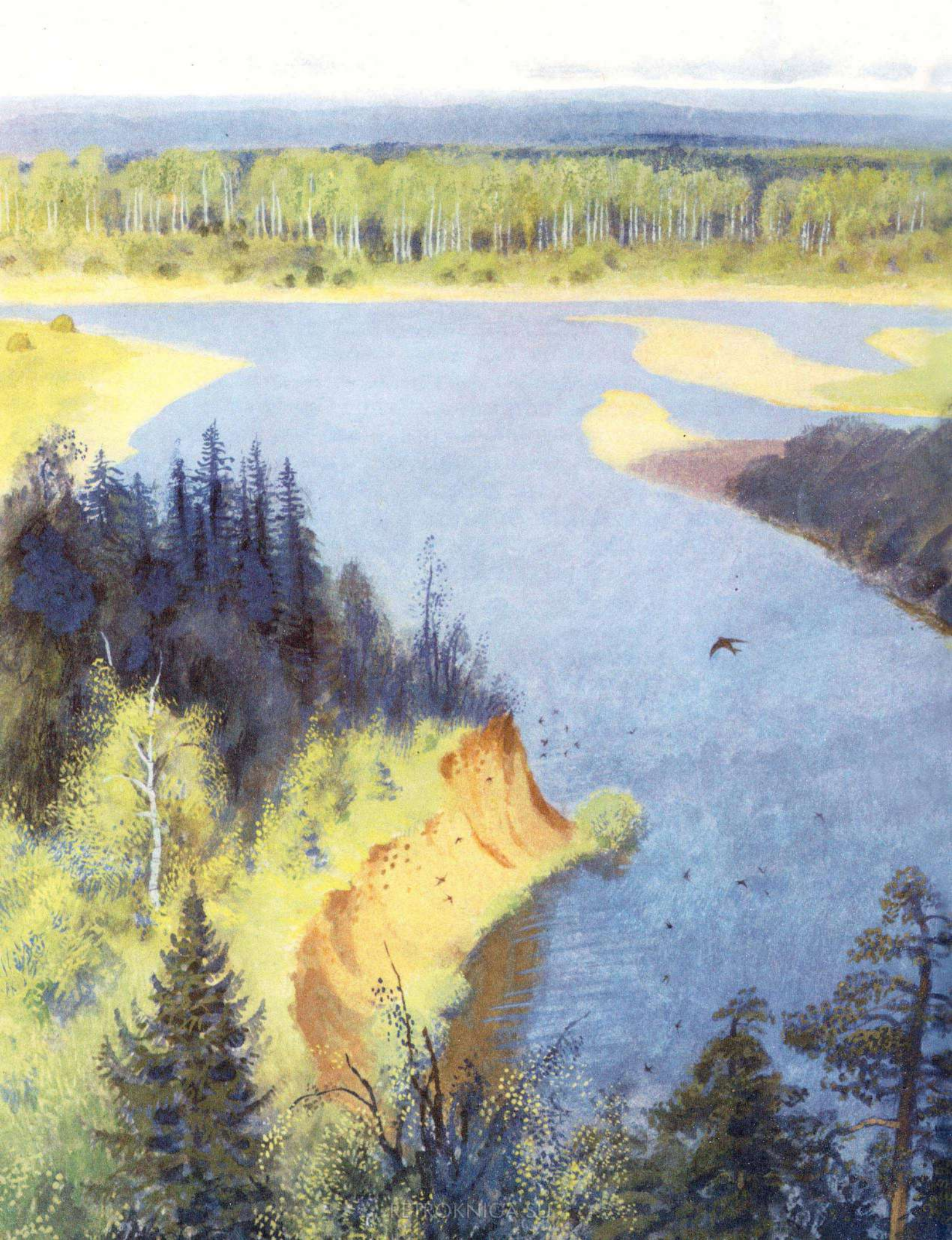
Ну что было делать Скрипу? Не падать же? Он растопырил крылья и... полетел! И тут на него набросились все стрижи, старые и молодые. Все-все! И погнали его из норки навстречу ветру, ослепительному солнцу.

— Скрип! Скрип! — испуганно закричал стрижонок, захлебнувшись ветром, и увидел под собой воду. — Скрип! Скрип!

«А если я упаду?» — с ужасом подумал он.

Но стрижи не давали ему упасть. Они гоняли его кругами над водой, над берегом, над лесом.

Потом крики стрижей остались позади. Свист крыльев и гомон птичий угасли. И тут стрижонок Скрип с удивлением увидел, что он уже сам, один, летает над рекой! И от этого сделалось так радостно, что он взмыл высоко-высоко и крикнул оттуда солнцу, реке, всему миру: «Скрип!» — и закружился, закружился над рекой, над лесом. Даже в облако один раз залетел. Но там ему не понравилось — темновато и одиноко. Он спикировал вниз и заскользил над водою, чуть не касаясь её брюшком.







А потом Скрип и сам стал помогать стригам — вытаскивал из норок стрижат и тоже гнал их над рекой вместе со всеми стрижатами и кричал:

— Скрип! Скрип! Скрип! Держи его! Догоняй!..

И ему было весело смотреть, как метались и заполошно кричали молоденькие стрижата, обретая полёт, вечный полёт.

Скрип много съел в этот день мошек, много выпил воды. Ел и пил он жадно, потому что стрижи всегда в движении, всегда в полёте, и оттого надо им всё время есть, всё время пить. Но день кончился. Скрип ещё раз плюхнулся белым брюшком на воду, схватил капельку воды, отряхнулся и поспешил к своей норке. Но найти её не смог. Ведь снаружи он никогда не видел свою норку, а сейчас все норки казались ему одинаковыми. Норок много, разве их различишь?

Скрип сунулся в одну норку — не пускают, в другую — не пускают. Все стрижиные дома заняты. Что же делать? Не ночевать же на берегу! На берегу страшно.

И Скрип начал делать свою норку. Выскребал глину остренькими когтями, выклёвывал её и уносил к воде, снова возвращался к яру и опять клевал, скрёб, а в землю подáлся чуть-чуть.

Устал Скрип, есть захотел и решил, что такой норки ему вполне хватит. Он немного покормился над рекой и завалился спать в свою совсем ещё не глубокую норку.

Неподалёку рыбачили мальчишки. Они пришли к стрижиному яру. Один мальчишка засунул руку в норку и вынул Скрипа. Что только не пережил Скрип, пока его держали в руках и поглаживали, как ему казалось, громадными пальцами!

Но ничего попались ребяташки, хорошие, выпус-

тили Скрипа. Он полетел над рекой и со страху крикнул:

— Тиу!

Все стрижи высыпали из норок, глядят — никого нет. Ребятишки уже ушли, сокол не летает. Чуть было не побили стрижи Скрипа, но пожалели — молодой ещё.

Тут понял Скрип, что в маленькой норке не житьё, и принялся снова работать. Он так много раз подлетал к своей норке, чтобы унести глину, так пробивался в глубь яра, что норку эту отличал уже ото всех.

Как-то опять пришли мальчишки, засунули руку, чтобы вытащить Скрипа, а достать не могут. Скрип вертел головою и, должно быть, насмешливо думал: «Шалишь, братцы мальчишки! И вообще, совесть надо иметь?»

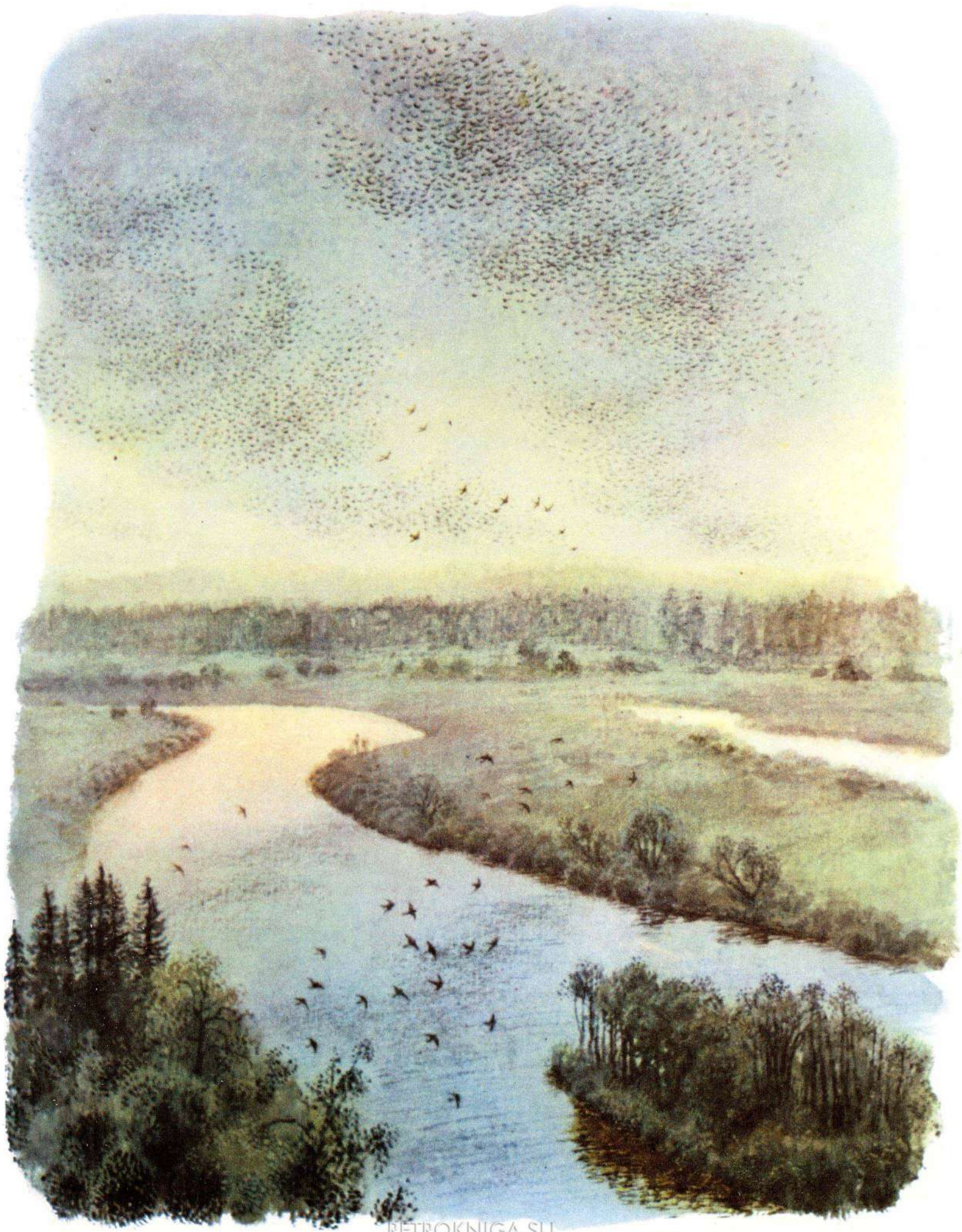
Хорошо, спокойно жилось в своей норке. Теперь Скрип наедался и напивался досыта, он стал стремительным, сильным. Но вот отчего-то сделались беспокойными стрижи. Они почти не находились в норках, а всё летали, кружились, лепились на проводах и часами сидели молча, прижавшись один к одному. А потом с визгом рассыпались в разные стороны, присаживались к осенним лужам, заботливо клевали глину и снова сбивались в стаи, и снова тревожно кружились. Эта тревога передалась и Скрипу. Он стал ждать, сам не зная чего, и в конце августа, на рассвете, вдруг услышал призывный голос вожака Белое брюшко.

— Тиу! — крикнул вожак.

В голосе его на этот раз не было угрозы. Он звал в отлёт.

Взмыл Скрип и видит: всё небо клубится. Тучи стрижей летят к горизонту.

— Тиу! — звал вожак.



И стайка Скрипа помчалась вдаль, смешалась с другими стаями. Стрижей было так много, что они почти заслонили собой разгорающуюся в небе зарю.

— Скрип! Скрип! — тревожно и тоскливо кричали стрижи, прощаясь до следующего лета с родным краем.

— Скрип! До свидания! — крикнул и стрижонок Скрип и помчался за леса, за горы, за край земли.

— До свидания, Скрип! До свидания! Прилетай в свою норку! — кричали вслед Скрипу мальчишки-рыбаки.

Стрижи улетают в одну ночь и уносят с собою лето. Прилетают они в одну ночь и приносят с собою лето.

Скучно без стрижей на реке. Чего-то не хватает.

Где ты, маленький Скрип? В каких краях и странах? Возвращайся скорее! Приноси нам на крыльях лето!

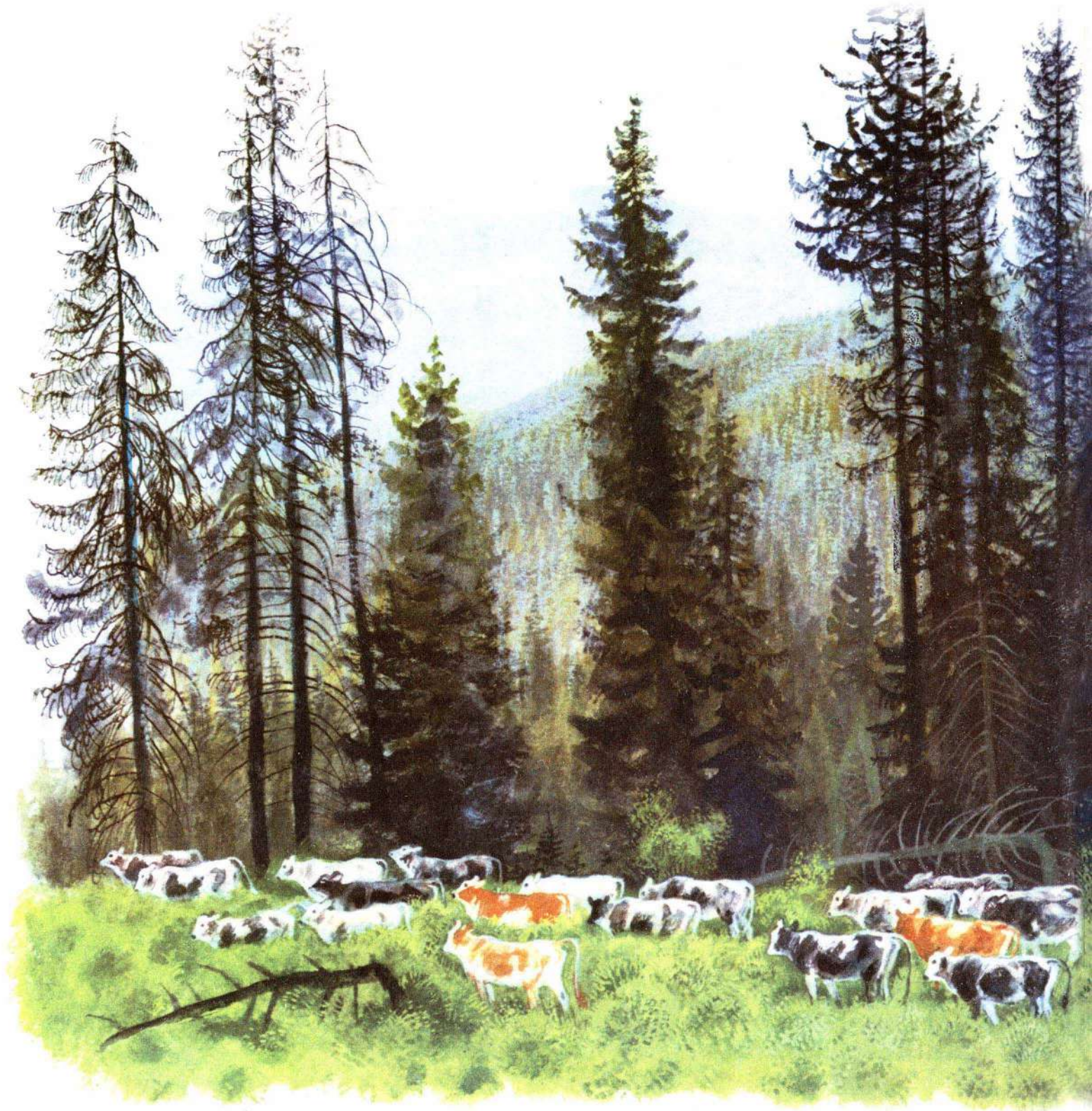




КАПАЛУХА

Мы приближались к лугам, куда гнали колхозный скот на летнюю пастьбу.

Тайга поредела. Леса были сплошь хвойные, покоробленные ветрами и северной стужей. Лишь кое-где среди редколапых елей, пихт и лиственниц пошевеливали робкой листвой берёзки и осинки да меж деревьев развёртывал свитые улитками ветви папоротник.



Стадо телят и бычков втянулось на старую, заваленную деревьями просеку. Бычки и телята, да и мы тоже, шли медленно и устало, с трудом перебирались через сучковатый валежник.



В одном месте на просеку выдался небольшой бугорочек, сплошь затянутый бледнолистым доцветающим черничником. Зелёные пупырышки будущих черничных ягод выпустили чуть заметные се-

рые былиночки — лепестки, и они как-то незаметно осыпáлись. Потом ягодка начнёт увеличиваться, багроветь, затем синеть и, наконец, сделается чёрной с седоватым налётом.

Вкусна ягода черника, когда созреет, но цветёт она скромно, пожалуй, скромнее всех других ягодников.

У черничного бугорка поднялся шум. Побежали телята, задрав хвосты, закричали ребятишки, которые гнали скот вместе с нами.

Я поспешил к бугорку и увидел, как по нему с распушенными крыльями бегают кругами глухарка (охотники чаще называют её капалухой).



— Гнездо! Гнездо! — кричали ребята.

Я стал озираться по сторонам, ощупывать глазами черничный бугор, но никакого гнезда не видел.

— Да вот же, вот! — показали ребяташки на замшелую корягу, возле которой я стоял.

Я глянул, и сердце моё забилося от испуга — чуть было не наступил на гнездо. Нет, оно не на бугорке было свито, а посреди просеки, под упруго выдавшимся из земли корнем. Обросшая мхом со всех сторон и сверху тоже, затянута седыми космами, эта неприметная хатка была приоткрыта в





сторону черничного бугорка. В хатке утеплённое мхом гнездо. В гнезде четыре рябоватых светло-коричневых яйца. Яйца чуть поменьше куриных. Я потрогал одно яйцо пальцем — оно было тёплое, почти горячее.

— Возьмём! — выдохнул мальчишка, стоявший рядом со мной.

— Зачем?

— Да так!

— А что будет с капалухой? Вы поглядите на неё!

Капалуха металась в стороне. Крылья у неё всё ещё разброшены, и она мела ими землю. На гнезде она сидела с распушенными крыльями, прикрывала своих будущих детей, сохраняла для них тепло. Потому и заостенели от неподвижности крылья птицы. Она пыталась и не могла взлететь. Наконец



взлетела на ветку ели, села над нашими головами. И тут мы увидели, что живот у неё голый вплоть до шейки и на голой, пупыристой груди часто-часто трепещет кожа. Это от испуга, гнева и бесстрашия билось птичье сердце.

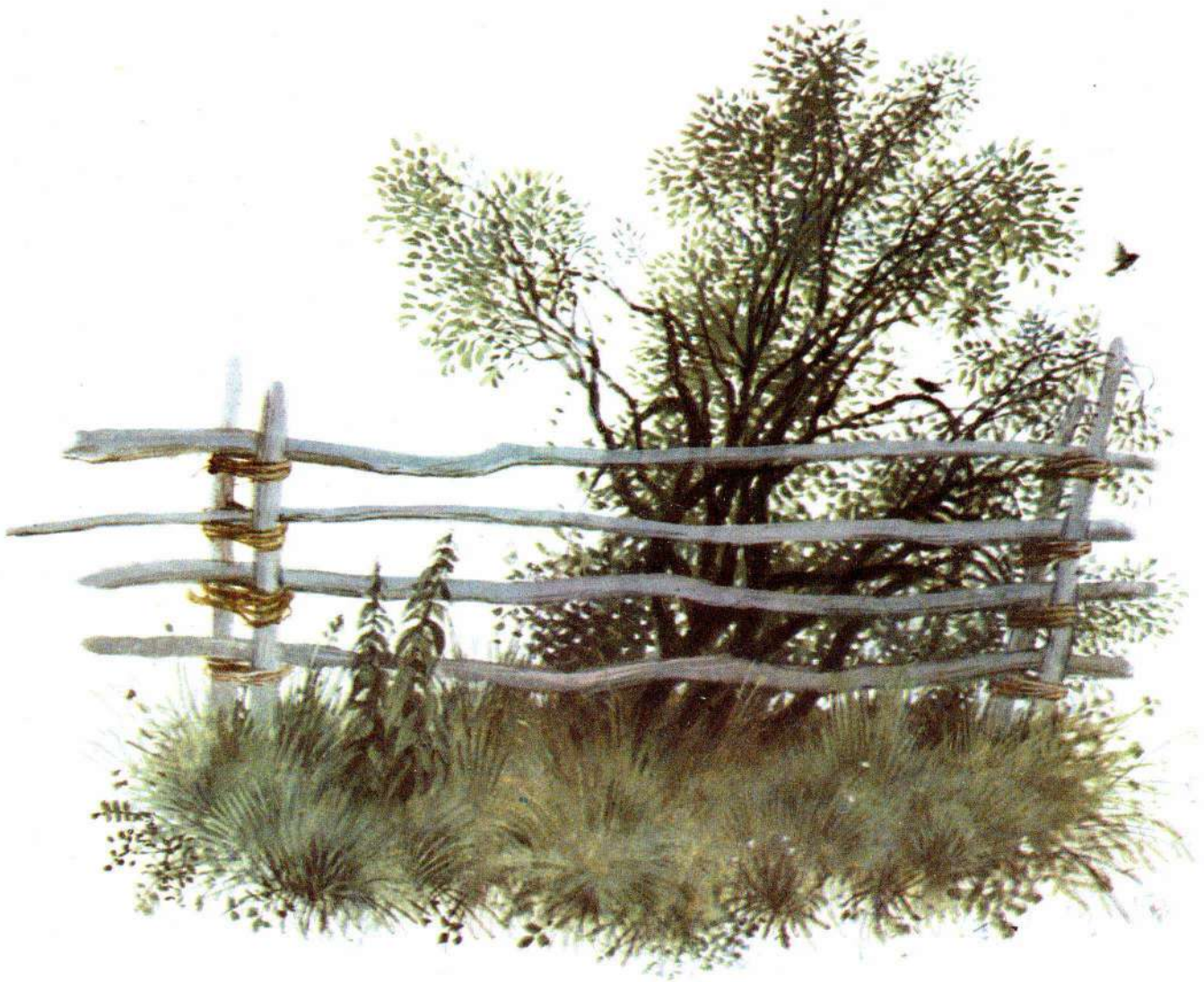
— А пух-то она выщипала сама и яйца греет голым животом, чтобы каждую каплю своего тепла отдать зарождающимся птицам,— сказал подошедший учитель.

— Это как наша мама. Она всё нам отдаёт. Всё, каждую капельку...— грустно, по-взрослому сказал кто-то из ребят и, должно быть, застеснявшись этих нежных слов, произнесённых впервые в жизни, недовольно крикнул: — А ну пошли стадо догонять!

И все весело побежали от капалухино гнезда. Капалуха сидела на сучке, вытянув вслед нам шею. Но глаза её уже не следили за нами. Они целились на гнездо, и, как только мы немного отошли, она плавно слетела с дерева, заползла в гнездо, распустила крылья и замерла.

Глаза её начали затягиваться дрёмной плёнкой. Но вся она была настороже, вся напряжена. Сердце капалухи билось сильными толчками, наполняя теплом и жизнью четыре крупных яйца, из которых через неделю-две, а может, и через несколько дней появятся головастые глухарята.





ЗОРЬКИНА ПЕСНЯ

Бабушка разбудила меня рано утром, мы пошли на увал по землянику. Огород наш упирался крайним пряслом в увал. Через жерди переваливались ветки берёз, осин, сосен. Одна черёмушка перебралась через городьбу и разрослась на меже среди крапивы и конопляника. Её никто не трогал, и на ней вили птички гнёзда.

Деревня ещё тихо спала. Ставни на окнах были закрыты, не топились ещё печи, и пастух не выгонял сонных и неповоротливых коров за поскóтину, на приречный луг.

На лугу под увалом стелился туман, и была от него мокрая трава, никли долу цветы куриной слепоты, и ромашки приморщили белые ресницы на жёлтых зрачках.

Енисей тоже был в тумане, и скалы на другом берегу, будто подкуренные густым дымом снизу, отдалённо проступали вершинами в поднебесье и ровно бы плыли встречь течению реки безостановочно.

Неслышная днём, вдруг обнаружила себя Малая речка, рассекающая село напополам. Тихо пробежавши мимо кладбища, она начинала гуркотеть, плескаться и картаво наговаривать на перекатах. И чем дальше, тем смелей и говорливей делалась.

Вот и наговаривает, наговаривает сама с собой, довольная тем, что пока её не мутят и не баламутят. Но внезапно обрывается её говор: это прибежала речка к Енисею, споткнулась о его большую воду и сконфуженно смолкла. Тонкой волосинкой вплеталась Малая речка в крутые, седоватые валы Енисея. Вобрав её голос в себя, слившись с тысячами других речных голосов, собравши капля по капле силу свою, грозно гремела река на порогах, пробивая себе путь к студёному морю, и растягивал Енисей светлую ниточку нашей деревенской речки на многие тысячи вёрст, и как бы живою, трепещущей жёлой деревня наша была всегда соединена с огромной землёй.

Кто-то собирался плыть в город и сколачивал мостки на Енисее. Звук топора возникал на берегу и затем проносился, минуя спящее село, чтобы удаться о каменные обрывы увалов и, повторившись над ними, рассыпаться многоэхо по распадам.

Сначала бабушка, а за нею я пролезли меж мокрых от росы жердей и пошли по распадку вверх на





увалы. Весной по этому распадку рокотал ручей, гнал талый снег, лесной хлам и камни в наш огород, а потом утихомирился. И сейчас путь его обозначал только до блеска омытый камешник.

В распадке уютно дремал туман, и было так тихо, что мы боялись кашлянуть. Бабушка держала меня за руку и всё крепче, крепче сжимала её, будто боялась, что я могу вдруг исчезнуть в этой обволакивающей белой тишине. А я боязливо прижимался к ней, к моей живой и тёплой бабушке. Под ногами шуршала мелкая ершистая травка. В ней желтели шляпки маслят и краснели рыхлые сыроежки.

Местами мы низко пригибались, чтобы пролезть под наклонившуюся сосенку. По кустам переплелись, как хмель, цветы — дедушкины кудри. Мы запутывались в нитках, и тогда из белых чашек цветков выливалась мне за воротник и на голову студёная роса.

Я вздрагивал, ёжился, облизывал горьковатые капли с губ.

Бабушка вытирала мою стриженую голову ладонью или краешком платка, с улыбкой подбадривала, уверяла, что от росы да от дождя люди растут большие-большие.

Туман всё плотнее прижимался к земле, волокнистой куделею затянул село, огороды и палисадники, оставшиеся внизу. Енисей словно бы набух молочной пеною, берега и сам он заснули, успокоились под непроглядной, шум не пропускающей мякотью. Даже на изгибах Малой речки появились белые зачёсы, и видно сделалось, какая она вилючая.

Но светом и теплом всё шире разливающегося утра раскатывало туманы, тоньше, тоньше скручивало их валами в распадках, загоняло в потайную дрёму тайги.

Топор на Енисее перестал стучать. И тут же залилась, гнусаво запела на улицах берёзовая пастушья дудá, откликнулись ей со дворов коровы, звякнули боталами, и сделался слышен скрип ворот.

Коровы брели по улицам села, за поскотину, то появлялись в разрывах тумана, то исчезали в нём.

А в распадках и в тайге туманы будут стоять до высокого солнца, которое ещё не обозначило себя и было за далью гор, где стойко держались снежные беляки и ночью дышали холодом и этими вот туманами, что украдчиво ползли к нашему селу в сонное предутрие, а с первыми звуками, с пробуждением людей, убирались в лога, ущелья, провалы речек, обращались студёными каплями и питали собой листья, травы, птах, зверушек и всё живое и цветущее на земле.

Мы пробили головами устоявшийся в распадке туман и побрели по нему, как по мягкой, податливой воде, выбредали из него медленно и бесшумно. Вот он уже по грудь нам, по пояс, до колен, и вдруг навстречу из-за дальних увалов плеснулось яркое солнце и празднично заискрилось, заиграло в лапах пихтача, на камнях, на валежниках, на упругих шляпках молодых маслят и в каждой травинке.

Над моей головой встрепенулась птичка, стряхнула горсть искорок и пропела звонким, чистым голосом, как будто она и не спала, будто всё время была начеку: «Тить-тить-ти-ти-рри-и...»

— Что это? — спросил я шёпотом.

— Это зорькина песня.

— Как?

— Зорькина песня. Птичка зорька утро встречает, всех птиц об этом оповещает.

И правда, на голос зорьки (так в наших краях называют зарянку) ответило сразу несколько голо-





сов — и пошло, пошло! С неба, с сосен, с берёз — отовсюду сыпались на нас искры и такие же яркие, неуловимые, смешавшиеся в единый хор птичьи голоса. Их было много, и были они один звонче другого, и всё-таки зорькина песня, песня народившегося утра, слышалась громче, яснее других.

Зорька улавливала какие-то мимолётные, почти незаметные паузы и вставляла туда свою сыпкую, неудержимо радостную песню.

— Зорька поёт! Зорька поёт! — закричал я и запрыгал неизвестно отчего.

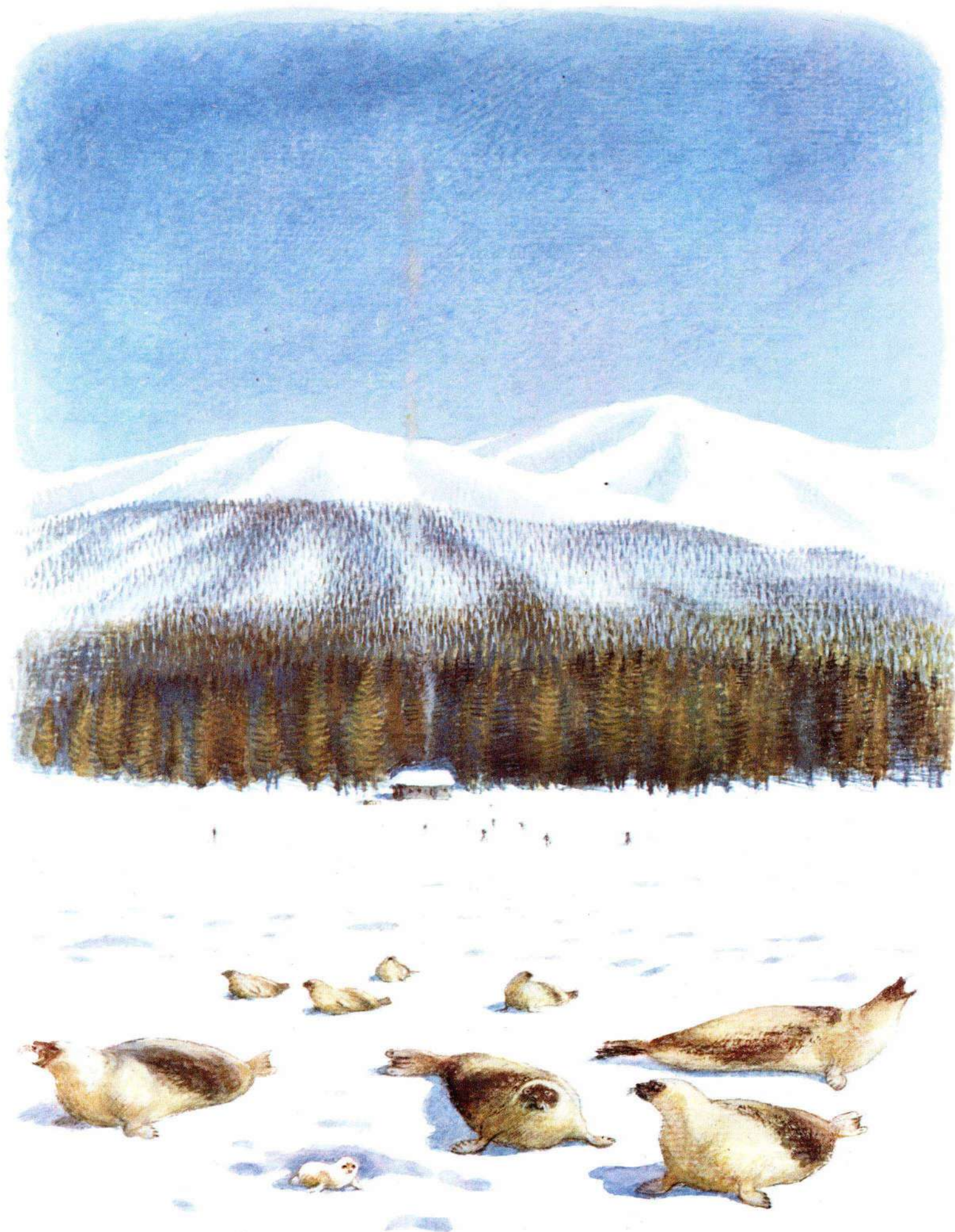
— Зорька поёт, значит, утро идёт, — сказала бабушка, и мы поспешили навстречу этому утру и солнцу, медленно поднимающемуся из-за увалов.

Нас провожали и встречали птичьи голоса; нам низко кланялись обомлевшие от росы и притихшие от песен сосенки и ели, рябины и берёзы.

В росистой траве загорались от солнца огоньки земляники. Я наклонился, взял пальцами чуть шершавую, ещё только с одного бока опалённую ягодку. Руки мои запахли лесом, травой и этой яркой зарёю, разметавшейся по всему небу.

А птицы всё так же громко и многоголосно славили утро и солнце, и зорькина песня, песня пробуждающегося дня, вливалась в моё сердце и звучала, звучала, звучала...



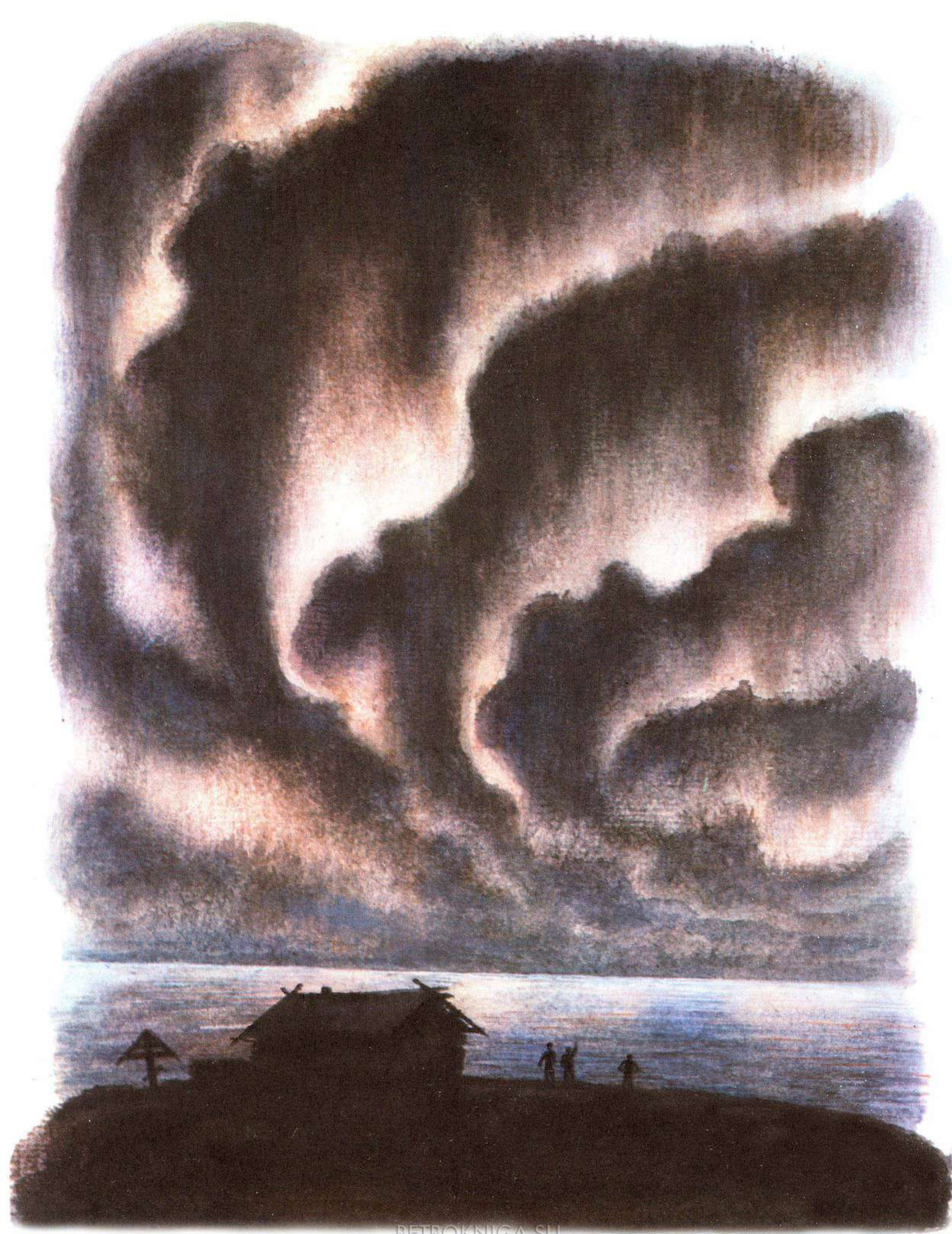


Ю Р И Й
К А З А К О В



Писатель Юрий Павлович Казаков ещё мальчиком бывал на севере России. Он жил на лесоразработках, ходил со взрослыми на охоту, ловил рыбу в реках, дружил с молчаливыми северными ребятами — потомками древних новгородцев. И хотя родился Казаков в Москве, он навсегда полюбил северный край.

Читая рассказы Казакова, вы услышите северную речь, услышите, как стонет во время шторма Белое море, увидите сполохи северного сияния... Познакомьтесь с суровыми и добрыми людьми, с их нелёгким трудом, с прекрасной природой Севера.





СКРИП-СКРИП

Дело было осенью, и загорелось однажды осенью северное сияние. Стоял возле тони старый чёрный крест, ещё дедами был поставлен. Раньше на него молились, перед тем как в море выходить. А теперь покосился, надломился и весь ножами изрезан. Идёт мимо мальчишка, увидит крест и сейчас же на нём своё имя вырежет: «Толя», там, или «Миша».

Так вот, сидели мы с рыбаками вокруг печки, ухи ждали. Глянул я в окно, смотрю — крест розовый стал. «Что такое? — думаю. — Ночь, темнота, а крест загорелся!» И вышел вон из избы. А как вышел, так и закричал:



— Выходите все, глядите, что делается!

Вышли все на берег моря, головы подняли и смотрим в небо. А небо над нами, как цветной шатёр. Над самой головой чёрная дыра, кажется, а от неё во все стороны — и к западу, и к югу, и к северу, и к востоку — розовые лучи расходятся. Северное сияние!

Луна стала тусклой, окружилась янтарными кольцами. Звёзды пропали, только самые крупные красным огнём горят, как огни на мачтах. А небо по розовому вдруг то жёлтым, то зелёным подёргивается.

— К холоду это, — сказали рыбаки. — К непогоде!

Постояли мы ещё, посмотрели на диво и опять в избу пошли. А в избе похлебали ухи, поговорили,

покурили и спать легли кто где. Кто внизу, а кто на нары забрался.

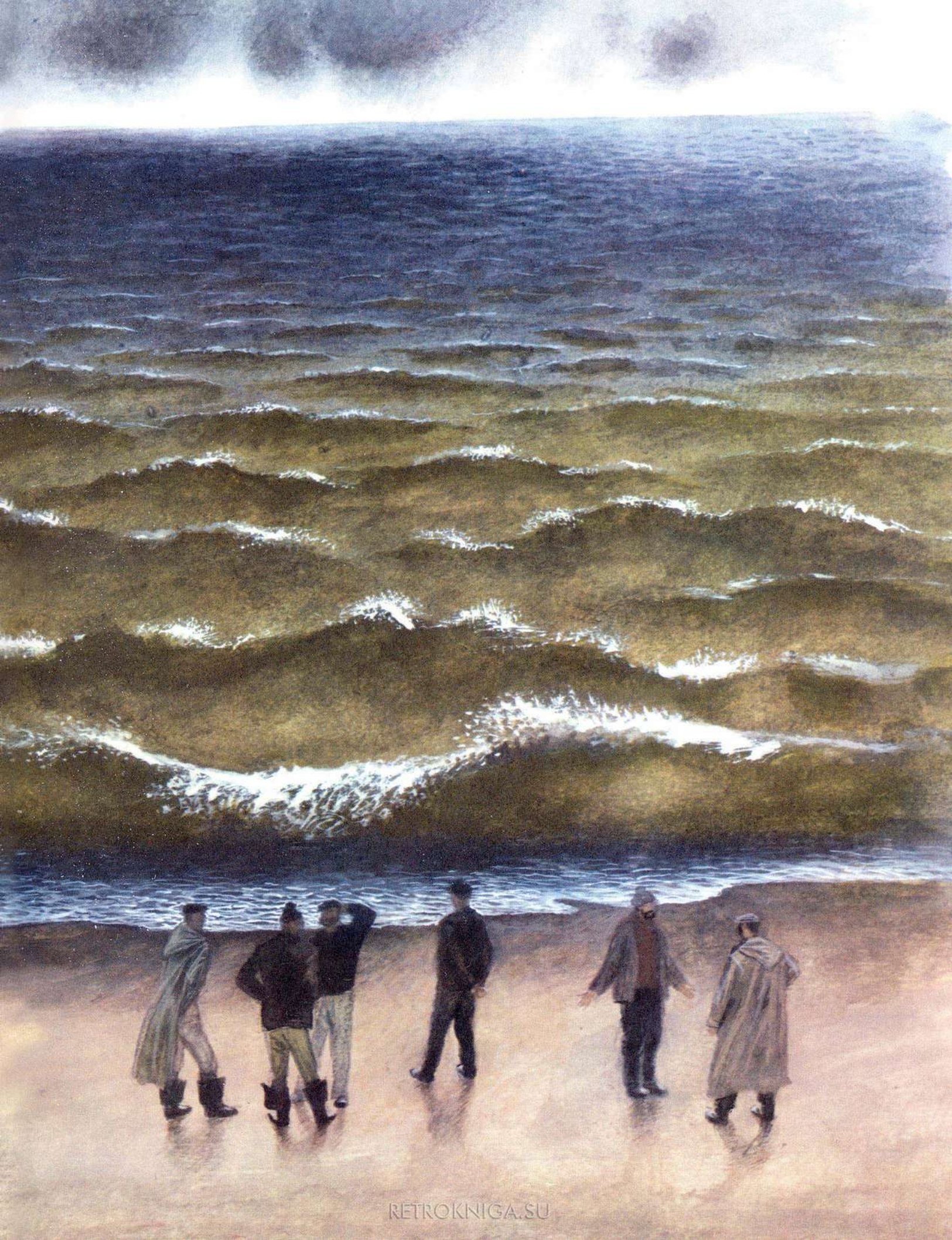
Трудно рыбакам осенью. Чуть свет надо в море выезжать, ловушки на сёмгу ставить. Потом целый день в карбасах на волне качаться, стеречь возле ловушки, чтобы рыбу не прозевать. А вечером опять снимать ловушки.

Раз в день бежит вдоль берега колхозная мотодора, поплёвывает дымком, выловленную сёмгу по тоням собирает, новости развозит, газеты, да письма, да хлеб.

Вот покачаешься целый день на море, повозишься с сёмгой да с сетями, руки-ноги заколенеют, так







потом от усталости хорошо спится. И в эту ночь крепко все спали, а утром проснулись от грохота: пал на море шторм.

Вышли мы из дому, посмотрели на море. Ветер чуть с ног не валит. Грязные лохматые взводни ходунком ходят, даже видно, как на горизонте дыбом поднимаются. Кинулись мы скорей к карбасам, оттащили подальше от воды, чтобы в море не унесло, и грустно собрались опять в избе.

Что станешь делать! В шторм к ловушкам выезжать нельзя, карбасы зальёт, потонешь. Да и сети порвёт, если удастся поставить,— хочешь не хочешь, надо ждать.

Ждём день, ждём другой. Вот уж и третий настаёт, а конца шторму не видно. На Белом море по неделям осенью штормит.

Как ни выйдешь на берег, всё одна картина: на песке кучи пены, ветер отрывает комки от куч, катит по песку... Вода в море мутная, всё так же бросается на берег, и северный ветер свистит не умолкая.

Прождали мы ещё день, и вышел у нас хлеб. Совсем заскучали рыбаки без хлеба. И решил я, как самый молодой, идти за хлебом пешком по берегу. Нам уже как-то не верилось, что шторм когда-нибудь кончится и привезёт мотодорка хлеба.

До колхоза в одну сторону идти было сорок километров. А до маяка, в другую,—тридцать. На маяке сами хлеб выпекали, и я решил идти на маяк, всё-таки поближе. Взял пестерь плетёный, сапоги обул, плащ надел, шапку зимнюю, ружьё взял и пошёл. Вышел со мной за порог бригадир—он лучше всех места знал,—вышел и показывает:

— Видишь угорье? Так направо угорья не ходи. Иди сперва берегом, а потом камни будут, неспособ-

но идти, ты и сверни в лес, а там болотом, да опять лесом, да в гору. А подымешься, тут тебе назад море будет видать, а вперёд да вниз — озеро. Место красиво, по бокам-то угорье, а в серёдке внизу озеро. Озеро пройдёшь, на другое угорье влезешь, а там и маяк увидишь. Понял? Ступай!

Я и пошёл. Прошёл, как велено было, берегом, а когда камни начались, свернул в лес. Только в лес свернул, на ручей наткнулся. Хотел повыше перейти, пошёл влево по ручью — болото! Чавкал, чавкал сапогами, в такое бучило залез, что и ходу никуда нет.



Пришлось возвращаться назад, к берегу. В лесу-то тихо было, душа отдыхала. А к морю вышел — опять рёв, шум, свист! «Что ж делать? — думаю. — Пойду берегом. Хоть и дальше, да вернее».

Небо было мутно и серо, отдельных облаков даже не различишь, всё монотонно, и свирепый ветер лицо сечёт, гонит по берегу мокрый песок. Лес на глазах начал желтеть, а земля — краснеть.

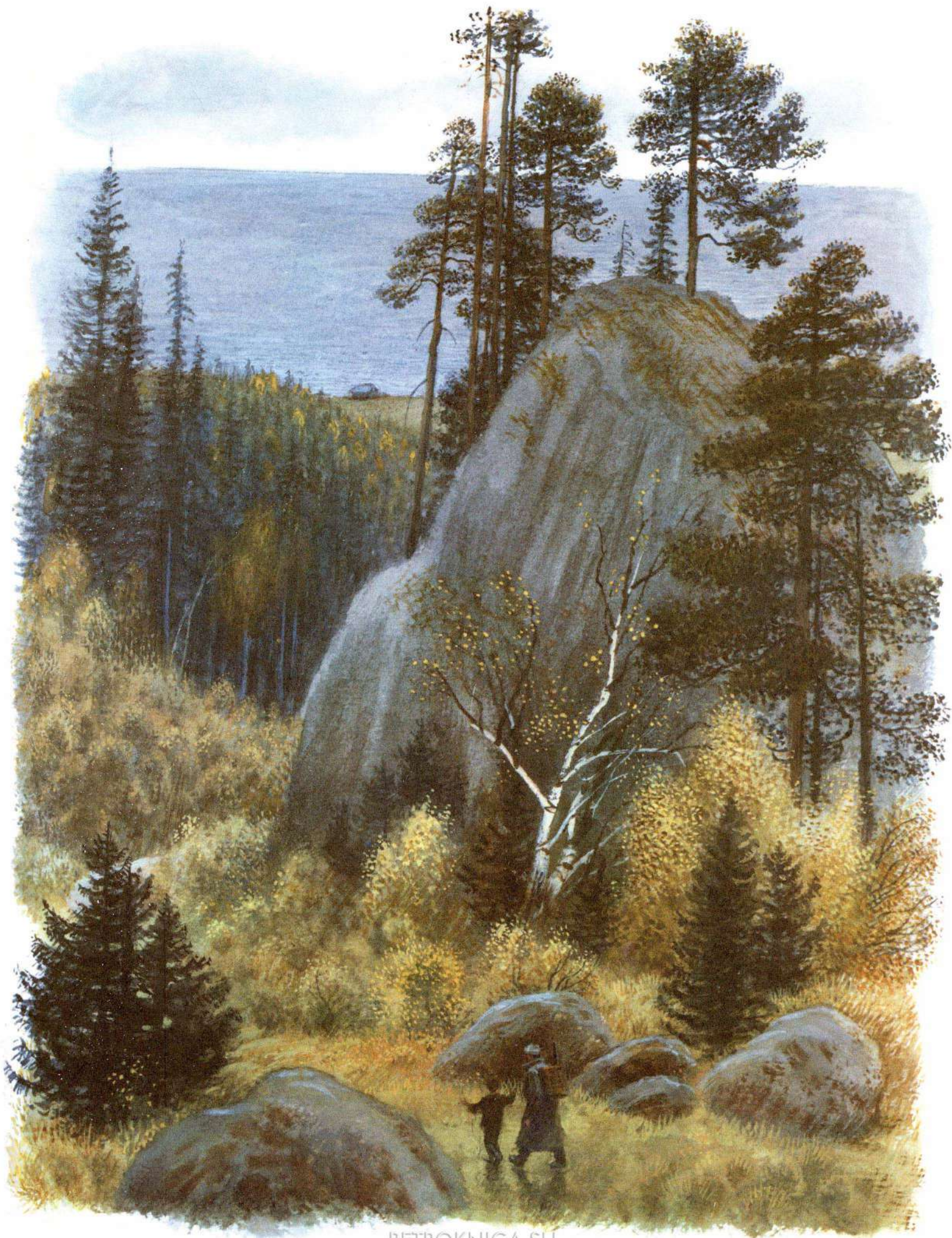
Росла там какая-то трава лепесточками и была багровая. Иду берегом, море справа, лес слева. Я всё на лес поглядываю — на море-то смотреть скучно. А в лесу всё разное! Беловатый мох ягель, тёмно-зелёные лакированные листики брусники, красные пятна травы лепесточками, светло-зелёные островки стелющегося можжевельника. Это внизу. А сверху берёзы золотятся да рябина горит красным бархатным цветом.

А то вдруг подступят скалы к самому морю, стоят тёмной стеной, и если тут лечь, то головой в стену упрёшься, а ноги в воде будут — так узко. По таким местам я бегом мчался, но всё равно волной меня захлёстывало, и скоро я так промок, что уж и не спасался.

Переночевал я на маяке, обсушился, а на другое утро нагрузил пестерь свежим хлебом — шесть буханок взял — и тронулся в обратный путь. Вместе со мной пошёл Коля, сын смотрителя маяка. В колхоз к дяде шёл. Маленький такой, лет восемь ему, а идёт смело и ничего не боится.

— Как же ты, — спрашиваю, — в такую даль идёшь? Ведь не дойдёшь, устанешь!

— А чего! — говорит. — Я уж не в первый раз. На тонях ночевать буду, у рыбаков.



Потом на море посмотрел, подумал и говорит:

— Чего нам берегом идти, в море мокнуть? Пошли горами, тут тропка есть, я знаю.

И пошли мы горами. Целый день шли в тишине, из ущелья в ущелье, вздымались и пропадали, слушали, как рябчики свистят, и так хорошо было, что даже стрелять не хотелось. А вечером вышли ущельем к морю, к старой, заброшенной избушке.

Никто в ней давно не жил. Мы отомкнули её и вошли. Внутри было холодно, и на потолке сажа в два пальца толщиной, хлопьями, лохматая. Разыскали мы воду, чайник, развели возле избушки костёр



из щепок и решили ещё печь протопить, чтобы не холодно было спать.

Топилась избушка по-чёрному, без трубы, и, когда печь затопили, сразу стало дымно. Дым плавал под потолком и лениво выползал в отдушину. Внизу был чистый воздух, вверху — плотный сизо-зелёный дым.

Хорошо было Коле, он маленький, а мне, если выпрямиться, дым по грудь доходил, и приходилось ходить и сидеть скорчившись. Печь горела плохо, вяло, без оживления, и в избушке ничуть не тепло. А внизу по-прежнему бушевало море.

— С этой печкой три охапки дров надо спалить, чтоб тепло стало,— говорит Коля.

— Ну что ж, и три охапки спалим,— говорю и ещё дрова подкладываю.— Зато как спать-то будем!

Печь всё-таки стала нагреваться, дрова разгорелись, дым полегчал, а мы чай пить сели. Сидим, пьём, говорим о разных разностях, море слушаем, как оно в берег бьёт. Оно внизу гремит, а нам тепло, лампочка керосиновая маленькая горит, на столе кружки с чаем, сахар да хлеб — хорошо!

Скоро в печке уже угли догорали, и она нам казалась сквозь дым пещерой гномов, озарённой горнами. Скоро дым совсем вытянуло, встал я, закрыл наверху отдушину, заложил палкой дверь, поставил у изголовья заряженное ружьё, и легли мы с Колей спать, укрывшись моим плащом, годным на все случаи.

Заснули мы часов в девять, а в два часа ночи я проснулся от какого-то странного ощущения. Сначала я не мог понять, что меня так поразило и почему я проснулся. А потом слышу вдруг — тихо кругом! Ни звука нигде, только внизу волна по гальке: буль-буль! скрип-скрип!

В избе темно и тепло, сильно пахнет хлебом, окошки чуть светлеют на две стороны. И Коля тихо дышит, посапывает. Потом и он проснулся вдруг и сел.

— О! — говорит. — Как тихо! Сколько дней гремело, а тут тихо...

— Может, — говорю, — чаю попью?

— Давай! — говорит Коля. — И свету не станем зажигать.

— Ладно, — говорю. — На окошки глядеть будем.

Пошёл я к печке, заслонку отодвинул — в печке у нас чайник стоял, — пахнуло на меня сухим теплом. Вытащил я чайник, а он горячий.

Сели мы с Колей на лавку, пьём чай, смотрим на окошки, молчим... А снаружи всё: скрип-скрип! буль-буль!

— Слышишь, — спрашиваю тихо, — как волна по гальке скрипит?

— Ага!

Опять помолчали, и тут Коля вдруг кружку на стол поставил и говорит шёпотом:

— Ой! Это и не волна вовсе... Это кто-то ходит снаружи!

Прислушался я — верно, ходит кто-то, и по звуку похоже на волну: скрип-скрип!

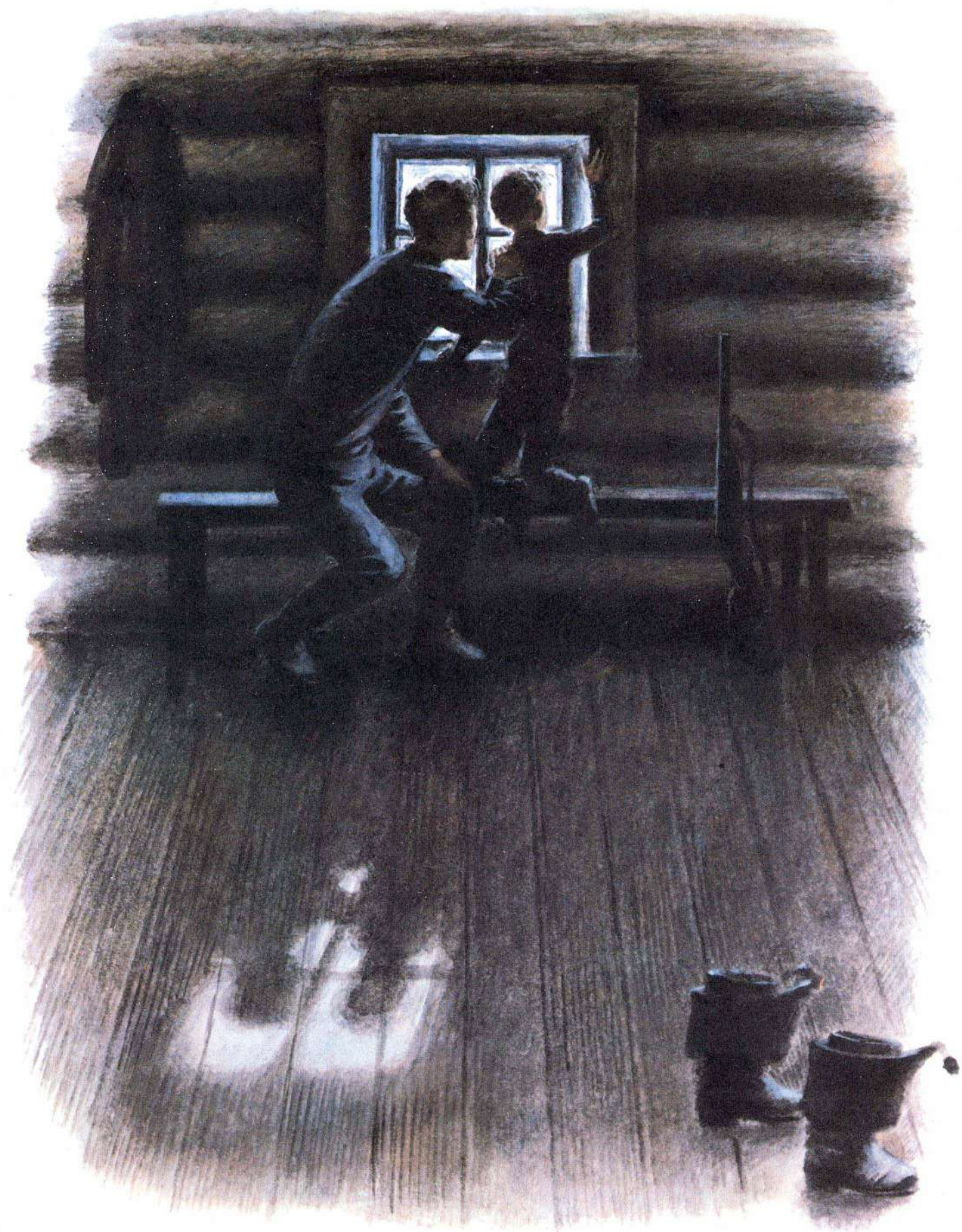
— Человек? — спрашивает Коля.

— Откуда тут человек!

— Так кто же? — и даже дышать перестал.

Выглянул я в окошко, потихоньку так, — по лавке подвинулся и выглянул. И Коля ко мне прижался, щека к щеке, тоже в окошко смотрит, и оба еле дышим, обоих дрожь начинает пробирать.

Только мы выглянули, сразу увидели море. Не было оно тёмным, как обычно ночью, а туманно-светлым. Это наверху северное сияние опять горе-



ло,— за облаками сияния не было видно, но свет его всё-таки освещал море. И на горизонте, как иголкой проколоты, два огонька горят, зелёный и белый.

— Пароход! — дышит Коля.

— Лесовоз, наверное, — шепчу.

— Или траулер, — догадывается Коля.

— А может, шхуна?

— Норвежская? — предполагает Коля.

— Или аргентинская, — думаю я.

— Ой! — дышит Коля. — Гляди! Вон встаёт...

И как дыхнёт от страха, так сразу всё стекло запотело. Протёр я тихо стекло, гляжу — большое тёмное пятно рядом с избушкой. То двинется, то остановится. И когда двинется, то еле слышно: скрип-скрип...

Медведь!

Отодвинулись мы от окошка, как обожглись, сидим в темноте и что делать, не знаем. Слышим, медведь к двери подошёл. Подошёл, стоит, молчит, посапывает — нюхает, наверное. Потом лапой корябнул по двери, но тихо, осторожно. Постоял, подумал, подошёл к окошку и сразу его затемнил. От первого окошка отошёл, подошёл к другому и то затемнил.

— Дядь! — шепчет Коля. — А ружьё-то!

Встал я на цыпочках, подошёл к нарам, взял ружьё, взвёл курок, да одумался. Ружьё дробью заряжено, на рябчика. Чего уж тут!

Медведь услышал движение, заворчал и сразу освободил окошко, исчез. Но от избушки не ушёл, а всё ходит около и всё поскрипывает.

— Чего это он? — спрашивает Коля.

— Хлеб, — говорю, — хлебом из избушки вкусно пахнет, вот он и ходит...

— А давай ему хлеба дадим! — предлагает Коля.

— Как? — спрашиваю. — Как же ты ему дашь?

— А вы окошко откроете, а я кину ему буханку.

Подумал я: почему бы и не дать? Хлеба не жалко, море успокоилось, мотодоры завтра поедут по тоням, привезут и хлеба, и всего...



— Давай! — говорю.

Взял Коля буханку, а медведь услышал, как я с окном вожусь, заворчал на всякий случай и в сторону подался. Стукнул я рамой, и выбросил Коля



буханку. Медведь подкрался, хрюкнул, схватил — и бегом прочь.

Минут через пять вернулся и уже прямо к окошку подошёл, стоит и поскуливает, ждёт.

— Ой-ой! — говорит Коля. — Какой умный! Давай ещё кинем!

— Кидать так кидать! — говорю.

И ещё кинули. Медведь даже на лету поймал — и прочь. Но тут мы всё-таки устали, и сморило нас в сон. Может, медведь снова приходил, но мы не слышали, спали крепко.







НА ЕЛОВОМ РУЧЬЕ

В феврале на севере, на Белом море, начинается зверобойный промысел. Его поморы называют ещё зверобойкой.

Из Архангельска в море выходят ледоколы. На мачтах, на особых удобных площадках, сидят люди с биноклями, осматривают льдины, и как заметят на льдине чёрные пятнышки тюленей, так ледокол останавливается, зверобои сходят на лёд и начинают охотиться на тюленей.

Но не только с ледоколов охотятся на тюленей, а и с берега. В самых глухих местах стоят на берегу зверобойные избушки, в горах, в лесистых ущельях, возле ручьёв. Летом избушки эти пусты, никто в них не живёт. А с начала февраля поселяются там зверобои бригадами и ждут появления тюленей.

Одна такая маленькая избушка стояла на Еловом ручье, и вот какой однажды случай вышел. Встали как-то утром зверобои, включили радио, затопили

печку, стали греть чай. Посмотрел один из них в окошко и закричал:

— Ребята, тюлени!

Выскочили зверобои из избушки, кто в чём был, с винтовками, глядят — на льду, недалеко от берега, целое стадо тюленей. Поднялась тут частая стрельба, все торопятся: тюлень — зверь чуткий, пугливый, после первых же выстрелов спешит уйти в воду. И хоть законом строго запрещено убивать самок тюленей, у которых маленькие детёныши есть, но в спешке бывали случаи, что и убивали.

Так и на этот раз... Подстрелил кто-то второпях мать, а с ней был маленький тюленёнок, дня два только как родился.

Прибежали тут зверобои на лёд, стали убитых тюленей к берегу тащить. Мать тюленёнка тоже потащили вместе с другими в амбар, где тюленей разделывают. А тюленёнок остался один на льду, заплакал и пополз за матерью. Дрожит, нюхает её след, лапами перебирает, хвостом себе помогает и ползёт быстро, как только может.

Зверобоев трое было — два пожилых, а один молодой парень, глупый ещё, насмешник. Увидел он тюленёнка, засмеялся и прицелился в него из винтовки, убить хотел тоже. У него ещё патрон в стволе остался, и очень выстрелить хотелось. Но старый зверобой дядя Зосим не позволил, ударил парня по руке.

— Чего ты, дурак, делаешь! — сказал он и сморщился. — Это же дитё махонькое...

Стоят зверобои на морозе и уж поостыли немного от горячки, уж замёрзли, в избу хочется — в избе тепло, чай на печке кипит, — а уйти всё не решаются. И тюленёнок перед ними лежит на снегу, шевелится, смотрит на них, как человек, как ребёнок.

Крохотным он был и жёлтого цвета. Всё в нём было маленькое: головка точёная, тельце, шейка... Но удивительней всего были его глаза. Таких больших чёрных глаз нет ни у кого больше. И такая тоска была в этих глазах, такое горе, такие крупные слёзы катились по мордочке, что невозможно было на него смотреть.

Поморы люди суровые. Всю жизнь тюленей бьют, а летом рыбу ловят: сёмгу, треску, селёдку. В тихую погоду и в штормы одинаково по морю ходят на маленьких мотоботах, сами не раз в глаза смерть видали. Всякого насмотрелся каждый за свою жизнь. А тут вдруг всем им, и даже парню-насмешнику, тяжело как-то, неловко на сердце стало.



— Что ж с им делать? — в раздумье сказал дядя Зосим.

— Возьмём в избу, пущай погрееется, — решил дядя Перфилий, тоже старик.

А парень-насмешник ничего не сказал, только заморгал и стал в сторону смотреть. Нагнулся дядя Перфилий, взял тюленёнка на руки и пошёл скорей домой.

Как ни жалели зверобои тюленёнка, а пришлось

бы неминуемо погибнуть ему без матери. Некогда было зверобоям заниматься с ним, надо было дело делать. Но на другой день с утра прибежал на лыжах к дяде Зосиму внук Вася, сахару принёс, табак, ватрушек свежих, молока...

— Ой, кто это?! — закричал он, увидев тюленёнка.

А тюленёнок за ночь будто похудел, будто ещё меньше стал, только глаза по-прежнему огромные и горькие такие, заплаканные.

— Да вот матку вчера убили, так дитё ейное осталось — тюленёнок, — сказал дядя Зосим. — Всю ночь ревел, сам не спал и нам не давал.

— А что вы с ним делать будете? — спросил Вася.

— А что с им делать? — вздохнули разом зверобои.

— Дайте нам в школу, у нас живой уголок, — загорелся вдруг Вася.

— А возьми, — обрадовался дядя Зосим.

И все зверобои обрадовались, заулыбались.

— Пущай ребятишки ухаживают. Это им для науки, — сказал дядя Перфилий.

— Только вы ему ванную сделайте, а то подохнет без воды, — захохотал парень-насмешник.

— Сделаем, всё сделаем... — бормочет Вася, а сам уже одевается в обратную дорогу.

— Да ты хоть чайку попей! — уговаривает его дядя Зосим.

Но Вася и слышать про чай не хочет. Ещё бы, радость какая — живого тюленёнка в школу принесёт!

Надел Вася лыжи, тюленёнка в мешок положил и побежал домой. Тюленёнок за спиной у Васи плачет, стонет, а Вася только ходу прибавляет —





единым духом в деревню примчался, к школе.

У ребят в школе в живом уголке синицы жили, рыбы речные и морские в аквариумах — камбала плоская, с одной стороны белая, с другой коричневая, тупоногая навага, пятнистая кумжа и даже морские оранжевые звёзды. Жили ещё два ёжика, заяц, который зимой сам в школу забежал, а тут прибавился тюленёнок.

Обрадовались ребята, захлопотали, выпросили для него большую деревянную кадку, в каких летом сёмгу засаливают, — вёдер тридцать воды в неё входит.

Натаскают ребята воды, тюленёнка пустят, плавает он там, плещется, фыркает. А устанет — вылезет, обчистится, обсушится, на половичок ляжет и посматривает кругом. Глаза у него ничуть не уменьшились, всё такие же кроткие, умные, как человеческие, только взгляд веселей стал.

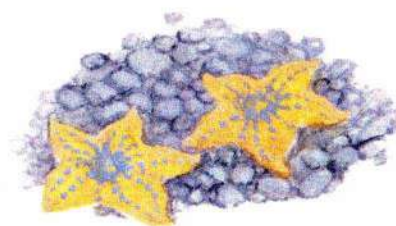
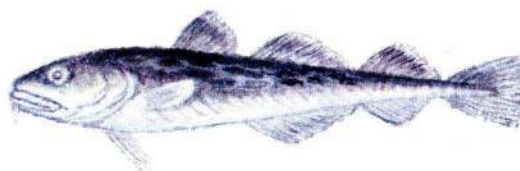
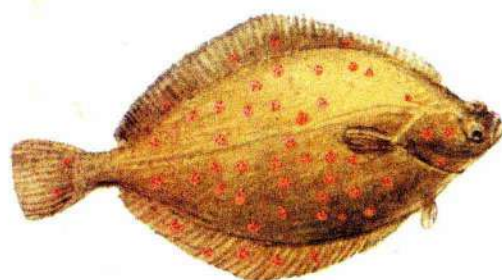
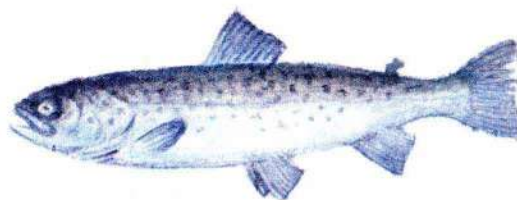
Кормили его сперва мо-

локом, а потом, когда подрос, стали рыбу давать. Чуть не целыми классами на рыбную ловлю отправлялись, ловили со льда навагу и кормили тюленёнка. Ко всем он относился хорошо, доверчиво, никого не дичился, но изо всех особенно отличал одного Васю и, когда видел его, начинал от радости головкой помахивать.

А когда наступила весна и сошёл лёд, поднялся в школе большой спор. Одни предлагали тюленёнка в зоопарк отправить, другие хотели его выпустить на волю. Спорили, спорили и решили всё-таки выпустить тюленёнка в море.

В тот день все в деревне знали, что тюленёнка в море выпускать будут, и когда понесли его ребята на берег, то и взрослые рыбаки туда же пришли.

Пришли дядя Зосим с дядей Перфилием и даже парень-насмешник пришёл, тот самый, кто тогда зимой хотел тюленёнка застрелить. Весело было очень, на праздник похоже.



Пустили тюленёнка на берег к самой воде, а он ничего не понимает, забыл всё. Облило его раз волной, другой раз обдало, вдруг он понял что-то, ластами, хвостом зашлёпал — и в воду.

Сначала на мелком месте его раза два перевернуло волнами. На берегу все засмеялись, руками хлопали, ногами затопали, закричали даже, как, бывает, на зайца кричат:

— Держи, держи его!



Только ребята стояли молча, притихшие. Жалко им было тюленёнка, привыкли к нему, а Вася так тот чуть не плакал.

Тюленёнок выбрался на глубокое место, скоро справился и нырнул. Показался снова он уже далеко — чёрной точкой. Долго эта точка на одном месте покачивалась, и всем казалось, что тюленёнок на берег смотрит, прощается. И хоть не видели уже, но каждый воображал себе большие его тёмные глаза. Наконец опять нырнул тюленёнок, и больше уж его не видели.



А зверобои закурили все вместе, задымили и тут же решили на будущее, что если опять случится грех — убьют нечаянно матку, — так детёныша ребятам в школу отдавать, а весной всей деревней выпускать на волю.



СОДЕРЖАНИЕ

Ф. Абрамов

**ГДЕ ЛЕТО
С ЗИМОЮ ВСТРЕЧАЮТСЯ 5**

В. Астафьев

СТРИЖОНОК СКРИП 29

КАПАЛУХА 47

ЗОРЬКИНА ПЕСНЯ 55

Ю. Казаков

**СКРИП-СКРИП 67
НА ЕЛОВОМ РУЧЬЕ 85**

Для младшего школьного возраста

**Фёдор Александрович Абрамов
Виктор Петрович Астафьев
Юрий Павлович Казаков**

ГДЕ ЛЕТО С ЗИМОЮ ВСТРЕЧАЮТСЯ

Рассказы о природе

Художник Н. Устинов

Редактор Г. Гладкова
Художественный редактор Д. Пчёлкина
Технический редактор Н. Житенева
Корректор Н. Пьянкова
ИБ № 2580

Сдано в набор 12.01.88. Подписано в печать 8.12.88.
60×90¹/₈. Бум. офс. № 1. Гарнитура балтика.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 12,0. Усл. кр.-отт. 51,0. Уч.-изд. л. 10,24.
Тираж 100 000 экз. Изд. № 1639. Заказ № 2087. Цена 1 р. 80 к.
Издательство «Малыш». 121352, Москва, Давыдовская ул., 5.
Калининский ордена Трудового Красного Знамени
полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР
Росглавополиграфпрома Госкомиздата РСФСР.
170040, Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.



Г 4803010201—111 38—89
М102(03)—89

© Состав. Издательство «Малыш» 1989



ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Издательство «Малыш» и Советский детский фонд имени В. И. Ленина предлагают вам внести свой взнос в помощь детям, оставшимся без родительской заботы, маленьким инвалидам, каждому ребёнку, который нуждается в помощи общества, а значит, каждого из нас.



Цена на эту книгу, как вы видите, несколько увеличена. Разница будет переведена на конкретные цели Детского фонда.

Издательство «Малыш»

Советский детский фонд
имени В. И. Ленина







